



М. П. ПОГОДИН



ПОВЕСТИ
ДРАМА



Михаил Петрович Погодин

Преступница

Впервые напечатано в «Московском вестнике», 1830, ч. 1, № I, с. 10–41. Там же, в № II, на с. 228, в разделе «Известия и замечания» помещено следующее заявление Погодина: «Приключение, послужившее основанием повести „Преступница“, рассказано было мне третьего года одним моим приятелем, который сам описал его в „Деннице“; потом прочел я повесть о том же „Маргериту“, напечатанную в 1803 году, — но мне желалось рассказать ее по-своему — и читателям предоставляется судить, не лишний ли труд я предпринимал. На французском языке, я слышал, есть еще подобная повесть». (Здесь имеются в виду повесть В. И. П-ва (вероятно, Панаева) «Наталья. Истинное происшествие», напечатанная в альманахе М. А. Максимовича «Денница» на 1830 г. и «Несчастливая Маргарита. Истинная российская повесть». М., 1803). П. А. Вяземский в статье «О московских журналах», помещенной в «Литературной газете» (1830, № 8), характеризовал «Преступницу» как повесть, принадлежащую «к роду уголовной литературы, которая в чести у нас и уже обогащена несколькими произведениями того же автора», и писал: «Странно, что истинное происшествие, служившее содержанием сей повести и сохранившееся у нас в народной памяти, породило в одно время и другую

повесть, напечатанную в „Деннице“» (с. 61).

Новеллический сюжет, лежащий в основе «Преступницы» (о женщине, нечаянно погубившей своего любовника и о слуге-вымогателе), был широко распространен со времен средневековья. В России его вариации начинают встречаться с XVII в. В XVIII–XIX вв. события нередко приурочиваются ко времени Екатерины II и иногда рассказываются как подлинное событие. О судьбе этого сюжета см.: Виноградов В. В. Сюжет и стиль. М., 1963.

Михаил Петрович Погодин

Преступница

Темною ночью, когда ни звезд, ни месяца не видеть было на небе, покрытом густыми тучами, показалось бледное зарево над крайнею, безлюдною частию Нижнего Новгорода. Спешить на помощь было некому, ибо давно уж наступила пора глухая: дневной шум давно замолк, улицы опустели, народ разошелся по домам и спал первым крепким сном. Уже часа через два один запоздалый гость, возвращаясь хмельной домой с именинного пира, заметил нечаянно пожар и поднял тревогу в спокойном городе. Испуганные жители встретились, сбежались — и увидели, что горит кабак среди огородов, на выезде, вдали от всякого жилья. Проворный огонь без помехи пробился сквозь все расщелины и отверстия, охватил строение и в клубах черного дыма тихо уж поднимался к небу, которое рделось над ним и накаливалось. Тушить было невозможно и даже бесполезно. Из дома слышались пронзительные крики. Несколько отважных ремесленников, увлеченных чувством сострадания, бросились к дверям, несмотря на очевидную опасность, — но двери были заперты, и они, после напрасных

усилий, принуждены были, опаленные и обожженные, воротиться назад и вместе с другими смотреть, как начало наконец в разных местах загораться вино: тонкий разноцветный огонь, вспыхнув мгновенно на горючей жидкости, выкидывал столпом на самый верх сквозь красное пламя и столь же скоро опал после и расходился понизу, озаряя все лица бледно-синим светом. Праздная толпа любовалась в тишине таким редким зрелищем — как вдруг с задней стороны дома выбегает молодая девушка, простоволосая, растрепанная, босиком, в беспорядочной одежде, с двумя пылающими головнями в руках. Неистовство видно было во всех чертах ее лица, во всех взорах и движениях. — Увидев народ, она, как будто удивленная, остановилась, окинула глазами всех зрителей, громко засмеялась и воскликнула: «Вы пришли смотреть, как горит он, как мучится? Спасибо! Слышите... это кричит он!.. Тс, слушайте... ха, ха, ха, я сожгла его, я! ха, ха, ха... Теперь уж нет, не будет ходить ко мне... Что ж вы стоите? таскайте солому... из сарая... Сюда, сюда, здесь погасает!» При сем слове она стреми-

тельно бросилась к тому месту, где огонь в самом деле горел тише, и, осыпаемая искрами, стала подгребать горящие уголья. Насилу могли оторвать ее оттуда. Народ подумал, что эта девушка, из живших в доме, увидела или услышала как-нибудь ночью, что у них загорелось, между тем как все прочие спали, успела спастись, но обеспамятела от испуга — и смотрел на нее с состраданием. Полицейские же, по окончании пожара, когда на месте дома остался один только пепел и белые кости, потащили ее с собою, почти бесчувственную, и поутру представили ее в земский суд с подробным донесением об ее подозрительных словах и действиях.

Судьи сделали ей несколько допросов, но не могли получить на первый раз никакого объяснения и, увидя (согласно с прежнею догадкою), что она в помешательстве, определили было препроводить ее в городскую больницу. Каково же было их удивление, когда некоторые жители, пришедшие по своим нуждам в суд, узнали в этой сумасшедшей девушке единственную дочь первостатейного купца, известную в городе своею красотою,

поведением, богатством, умом!

Дело представилось в другом виде, и, естественно, возникли разные подозрения: как могла она явиться ночью на краю города, одна, в кабаке, в таком странном виде? Почему радовалась пожару и старалась увеличивать его? О смерти какого человека кричала с таким удовольствием? От чего происходит ее настоящее сумасшествие, о котором прежде не слыхал никто? Не притворяется ли она? — По соображении всех обстоятельств ясно было, что она принимала накануне непосредственное участие в каком-нибудь мудреном происшествии, и все присутствовавшие блуждали в догадках и предположениях. Между тем несчастные родители, извещенные молвою, вне себя от страха, не смея верить, что дочь их была вчера в кабаке на пожаре, хотя к удивлению своему и не находили ее дома, прибегают в суд — и в самом деле видят ее окровавленную, избитую, безобразную, в толпе людей всякого звания. С горестным воплем продираются они к ней — но она, узнав их, затряслась, зарыдала и в судорожных движениях покатила на пол. Все при-

няли живейшее участие в несчастной купе[1], даже полицейские. Судьи, дав время успокоиться отцу и матери, стали их расспрашивать о дочери, но они сами не понимали, что случилось с нею, и под присягою объявили, что до сих пор не замечали за нею ничего предосудительного и, напротив, гордились ее благонаравием, как известно целому городу.

Между тем на нее падало подозрение в уголовном преступлении, зажигательстве и душегубстве и потому положено было впредь до объяснения дела оставить ее под крепкою стражею в остроге. Губернатор, велев содержать ее наилучшим образом и делать все возможное облегчение, приставил к ней просвещенного чиновника, который должен был замечать всякое ее слово и действие и расспрашивать в минуты спокойные.

В скором времени, при тщательном просмотре и умном обхождении, девушка чаще стала приходить в себя, хотя ее мучения от того ни мало не уменьшились, ибо сумасшествие заменилось отчаянием. Судьи приступили тогда законным порядком к делу и, поверяя слова больной с показаниями других

свидетелей, успели наконец отгадать почти совершенно непонятную загадку, открыть тайну неожиданную, страшную! — Но возникло новое затруднение, когда надлежало решить это дело, не подходившее ни под какие узаконения, когда надлежало изречь приговор преступлению новому и беспримерному, — и они, после долгих рассуждений и прений, принуждены были предоставить его верховной власти.

Императрица Екатерина II, в царствование которой случилось происшествие, посетила тогда Нижний на пути своем из Петербурга в Астрахань.

Сия государыня, созидая счастье отечества и решая судьбу государств чуждых, любила в тишине кабинета наблюдать человеческое сердце — разумеется, не на условных, одинаких лицах придворных, но в чертах чистых, неразвращенных детей природы русской; давая общие, благодетельные законы для своих подданных, любила часто входить в положение частных лиц разных званий, равно близких к ее чадолюбивому сердцу; любила узнавать их нужды, опасения, надежды, несча-

ствия, исполняя своими действиями прекрасное изречение Теренция:

Я человек, и все людское мне не чуждо.

Услышав подробное донесение о нижегородском происшествии, она изъявила желание говорить с преступницей.

На другой день в назначенный час представили ей сию несчастную. Она увидела молодую девушку, лет девятнадцати, высокую ростом, стройную, черноволосую, с голубыми глазами, с густыми темными бровями, — с ясными еще признаками недавней красоты. Но скорбь и болезнь наложили свою тяжелую руку на прекрасное лицо ее, оставили на нем свою зловещую тень, и с первого взгляда на нее всякий не останавливаясь сказал бы: это несчастная. А мутные глаза, которые беспрестанно обращались в разные стороны, отрывистые телодвижения, глухие звуки, вылетающие невольно из груди, свидетельствовали о расстройстве ее душевных способностей.

Екатерина подошла к ней и, взяв ее за руку, взглянув пристально в глаза, сказала ласково: «Ты несчастлива, друг мой, я сожалею о тебе...»

Величественный ли вид императрицы, внушавший во всех невольное почтение, сильный ли взор, кроткий ли голос — или мысль о земном божестве ее и беспредельной власти, почти врожденная в девушке и усиленная толкованиями стражей перед представлением, или все это вместе было причиною — только в эту минуту она лучше обыкновенного пришла в себя, как бы совершенно укротилась, залилась слезами и пала к ногам Екатерины, в умиленных выражениях свидетельствуя ей свою благодарность. Казалось, верховная власть повелевала разумом, и сия свободная способность души человеческой, часть божия, повиновалась ее могущественному слову.

— Да, я несчастлива, государыня, — отвечала ей девушка, как другу, который принял живейшее участие в ее судьбе и брал к себе на сердце бремя, ее удручавшее.

— Расскажи же мне свои несчастья, — продолжала спрашивать тем же голосом Екатерина, желая воспользоваться благоприятною минутою спокойствия и от нее самой получить объяснение на некоторые темные места

в донесении, — может быть, я могу облегчить страдания твоей души; сядь подле меня, — и чего не узнал внимательный пристав, чего не узнал бы уголовный судья со всеми орудиями мучительных пыток, то легко и просто обнаружилось в дружеской, искренней речи...

— Я была добра и невинна, — начала девушка... и горячие слезы в три ручья полились из глаз ее при воспоминании о добродетели, мучительном для преступления. Минуты две не могла она выговорить слова от рыданий, и только успокоенная великодушною Екатериною, у которой самой показались на глазах царские, святые слезы, несчастная могла продолжать скорбную речь свою!

— Я была добра и невинна. Родители любили меня от всего сердца, видели во мне всю свою радость и утешение, я любила их также, жизнь была мне в наслаждение. Все мои желания исполнялись прежде, чем я их выговаривала, но чего было желать мне? У меня было все. Время мое текло мирно между подружками, в рукодельях, играх, беседах, молитве, чтении божественных книг. Достигши зрелого возраста, всего более полюбила я уедине-

ние и спокойствие, к которому показывала склонность с нежного младенчества. Как прежде мне приятнее было, сидя в углу, смотреть на веселые игры ровесниц, чем самой играть вместе с ними, так теперь любила я вечером, когда среди общей неподвижности только месяц катился по чистому небу, гулять одна по нашему большому саду, в длинных темных просадях, или сидеть под старою развесистою липою, думать и смотреть сквозь зеленые листья на синеву небесную; — ночью перед сном, когда я видела себя одну в моей комнате, когда все вокруг меня было безмолвно, я вслушивалась в эту тишину и чувствовала неизъяснимое удовольствие. И у меня на сердце было тихо, тихо. — Тогда особенно читала я Четь-Минею[3], которую выучила почти наизусть. — С восхищением воображала я себе, как благочестивые отшельники среди необитаемых пустынь, в дремучих лесах, вдали от людей спасались, не волнуемые никакою страстию, не развлекаемые никакою заботою житейскою, чистые, святые. Проводить дни свои в благочестивых размышлениях о божием величестве, в посте и молитве, в со-

зерцании бесчисленных творений мира сего, казалось мне райскою жизнью на земле. Я завидовала мученикам, которые запечатлели крестною смертию любовь свою ко Христу, и не удивлялась их твердости среди истязаний, в темницах, на пылающих кострах, ибо сама, кажется, готова была на всякие страдания во славу моего Спасителя. — Бог наказал меня за гордость.

Так прожила я четыре года, и никакое земное желание не приходило мне на мысль. Ах, как я была счастлива тогда! Наш приходской священник в поучительных беседах еще более укреплял мои мысли. Сами родители одобряли мои занятия, называли меня монахиней, ученою, прибавляя с улыбкою, что скоро наступит время, когда я сама переменю свои мысли и буду искать удовольствия в других предметах. Впрочем, они боялись огорчать меня прекословиями: я исполняла с готовностью всякое их приказание, замечала всякое слово, оказывала почтение ко всем их родственникам и знакомым, одевалась, ездила в гости, как им было угодно. Мне минуло девятнадцать лет, и они, не видя во мне ника-

кой перемены вопреки своему желанию, начали говорить с большею твердостью о замужестве, указывали на многих выгодных женихов, которые давно уж за меня сватались. Я просила их, однако ж, оставить меня в покое еще на несколько времени. «Жизнь девичья мне мила, — говорила я им, — мне не хочется расстаться с вами и моею свободою, мне так хорошо у вас, я успею выйти замуж, мой час не наступил», — и родители согласились на мои убедительные просьбы, начав, однако ж, мешать мне в моих чтениях, больше приучать к рассеянию; между тем под разными предлогами отказано было женихам. В числе их находился сын одного богатого купца, который полюбил меня страстно и мне понравился бы, если б я согласилась когда-нибудь отдать мою руку. Отказ мой поразил его жестоко, и он решился, во что бы то ни стало, видеться со мною и узнать причину своего несчастья. Он склонил на свою сторону мою няньку. Однажды, как батюшка и матушка уехали в гости на целый день к одному старому родственнику, а я осталась дома за головою болию и плела кружево в своей комнате,

вдруг отворяются двери и входит этот молодой человек в сопровождении няни. Я испугалась; подушка выпала из рук моих, — но наконец оправилась и закричала няне, как она смела, в отсутствии родителей, привести мужчину в мою комнату. «Не сердись, родная, — отвечала она, — я сжалилась над бедным молодцем, который пред моими глазами хотел наложить на себя руку, если б я не согласилась исполнить его просьбы, ввести только на минуту к тебе и сказать два слова. Не грешно ли бы было мне погубить христианскую душу из-за такой безделицы? Он сейчас уйдет. Что же ты молчишь теперь, неотвязный, говори скорее». — «Настасья Львовна, — сказал молодой человек, — я люблю вас без памяти, и свет божий опостылел мне с тех пор, как увидел я вас, и любовь запала мне в сердце. Именем господним прошу вас, отвечайте мне только: решились ли вы ни за кого не выходить замуж, или только я вам противен...?» Лишь только начала было я говорить ему о непристойности его поступка, как вдруг послышался шум на дворе... няня бросилась к окну и увидела, что наши дрожки отъезжают

уж от крыльца. Батюшка и матушка приехали — боже мой! Няня побледнела, я также. «Дитятко! — воскликнула она наконец, падая мне в ноги. — Не погуби меня; я на руках тебя носила, осьмнадцать лет за тобою ходила. Николаю Петровичу нельзя выйти отсюда, не встретясь с хозяевами. Позволь спрятать мне его под перину. Это мой грех, и ты ни в чем не виновата. Лишь только выйдет отсюда Анна Трофимовна, я тотчас выпущу его, и следа не останется. Теперь же к вечеру. Согласись, родная. Здесь ничего нет зазорного». Я не успела выговорить еще ни одного слова, как голос матушки послышался в передней; няня, видя мою нерешительность и не ожидая уж моего ответа, потащила молодого человека, который смутился не меньше нашего, к кровати, приподняла перину и, велев ему лечь туда, закрыла его, задернула занавес и стала оправлять что-то. В эту минуту входит матушка. Видя меня у дверей бледную и дрожащую, она удивилась и стала спрашивать о причине. Я не могла сказать ничего и заикалась. «На улице под окошком упало что-то шибко, — подхватила няня, — а Настасья Львовна испуга-

лася». Матушка тотчас бросилась к образной за богоявленскою водою, накрыла меня чистою салфеткою, стала вспрыскивать, тереть виски, поить. Я наконец опомнилась, и она, перекрестив меня, оставила под надзором няни, а сама ушла к себе готовить ужин. «Ну вот бог и помиловал нас, — сказала няня мне тихо, пока слышна была матушка в своей комнате, — спасибо тебе, родная, во всю жизнь мою не забуду твоей милости: ведь меня со свету согнала бы хозяйка, если б узнала о моей вине. — Ах, господи! другу и недругу закажу пускаться на такие страсти. Как было я перепугалась. Вот — Анна Трофимовна ушла теперь и долго не выйдет из кухни, и гость наш скроется. Ну, вылезай-ка, добрый молодец, поскорее. Ведь тебе, чай, жарко под такую обузою... Ей, слышишь ли?» — Ответа нет. — Она отдернула занавес, дотрогивается рукою до него, говорит громче. — То же молчание. — «Неужели он уснул со страху?» Няня начинает толкать, будить его. Он не слышит голоса, лежит без движения. Няня поднимает перину... «Господи! он задохся!» — восклицает она, увидев, что купец не дышит. «Пропали

мы!» — Я подбегаю к кровати и вижу: молодой человек лежит весь красный, покрытый потом, в багровых пятнах, глаза навывкате, налились кровью, рот разинут, грудь поднялась, руки в тоске разметанные. — Я залилась слезами, забыв о своем положении, видя ужасный конец добродетельного юноши: за тем-то приходил ты сюда! И я, несчастная, была причиною твоей смерти. «Настасья Львовна, слушай, — сказала мне твердым голосом няня, истощив все средства привести его к жизни, — мы погибнем обе. За собой я не гонюсь. Так, видно, и быть, коли злой дух навел меня на грех. Мне и без того недолго уж остается жить на свете. Но мне жаль тебя. Какое бесчестье тебе и твоему роду, если найдут мертвое тело на твоей кровати, поведут тебя к допросам. Отец Николая Петровича не оставит без исследования смерти единородного сына. Твои родители умрут с печали. Пожалуй, — я приму вину на себя. Но поверят ли мне? Не подумает ли всякий, что меня подкупили к такому показанию для того, чтоб покрыть твой грех, спасти тебя от казни? Кто женится на тебе, кто будет смотреть на тебя, не отвора-

чиваясь, после такого позорного дела? А ты еще слыла монахиней. Видишь, какая тревога поднимется!..» Я слушала сии слова с глубоким вниманием и чувствовала, что она говорила правду, которая ядовитой ржавчиной проедала всю мою внутренность... «Но я придумала средство спастись нам без шума и с честью...» — «Какое?» — спросила я стремительно. — «А вот какое: мы живем близко реки. Теперь же вода прибыла после дождей, я поклонюсь нашему дворнику, Симиёну, и подкуплю его. Ночью, когда все улягутся спать, он придет сюда, возьмет тело и стащит чрез сад в воду. Все равно лежать ему, моему голубчику, в земле или воде: его ведь не поднимешь. — После же Семиён должен будет молчать, потому что иначе и сам пойдет подкнут. — Согласна ли ты?» — «Няня, ты меня губишь». — «Нет, родная, я спасаю тебя. Рассуди сама. Перед богом весь этот грех мой: я привела сюда человека, я уложила его под перину, под которую он задохся, я спроважу его в воду. Ты ни в чем не виновата. На что ж тебе перед людьми казаться такою? — Ты будешь молчать только о том, что я делаю и за

что все-таки буду отвечать перед создателем. Великий ли это грех? Если ты скажешь, то согрешишь больше: ты погубишь, говорю тебе опять, и меня, и себя, и отца, и мать, и род свой, без всякой пользы перед людьми и богом». — «Делай, что хочешь, губительница. Тебя сам дьявол научает», — сказала я и побежала стремглав из дома в сад. Няня оправила постель по-прежнему, пошла к дворнику и в самом деле уговорила его за сто рублей выручить ее из беды. Без меня уже, когда я, воротясь из саду и отужинавши с родителями, осталась слушать их рассказы о новых свадьбах в городе, о которых узнали они в гостях, дворник и няня сделали свое дело. — В первом часу, трепещущая, вошла я в свою комнату, и няня с торжествующим видом рассказала мне об успехе своего предприятия. «Во имя отца и сына и святого духа обещаюсь я, — сказала она, — сходить пешком в Киев и к Соловецким чудотворцам и помолиться о моем преступлении. Ты же, мое дитяtko, будь спокойна. — Сам бог тебе помогает и добродетельную твою душу, честное имя уберегает от людской клеветы и напраслины. Без его соиз-

воления нам никак не удалось разделаться бы так счастливо». — Но мертвец мне все мерещился, и я горько плакала и рыдала и не могла лечь во всю ночь на виновную постель свою.

На другой день разнесся слух в городе, что такой-то купеческий сын пропал; на третий рыбаки нашли его тело в версте за городом вниз по течению реки — и все подумали, что несчастный утопился с тоски по мне. Да, точно, я утопила его. — Прошло несколько времени. Дворник, на которого я боялась взглянуть, и бегала, завидя издали, отошел от нас, прогнанный батюшкою за неисправность и леность. Няня по обещанию ушла на далекое свое богомолье. Я мало-помалу возобновила обыкновенные свои занятия, старалась более углубляться в размышление. Через несколько времени во мне осталась только некоторая робость, иногда задумчивость беспредметная; в сии-то последние минуты страшное происшествие представлялось в моем воображении, и я приходила в трепет.

Но наконец я успокоилась почти совершенно, не переставая, однако ж, лить слезы

об несчастном юноше... вдруг рассказывает мне горничная девушка вечером, что меня спрашивает кто-то у задней калитки. Я пошла, и вижу высокого мужика, широкоплечего, с свирепым взглядом, раскрасневшимся лицом, в изодранном кафтане. Боже мой! кого я узнала! Это был дворник, пьяный. «Ну, сударка, я пришел к тебе в гости»... «Дерзкий! как смеешь ты говорить так со мною?»... — «Тише, голубушка, разве забыла ты, что весной я спас тебя от кнута и поселения». — «Что ты говоришь? Я не знаю. Это нянин грех». — «А няня говорила — твой. Ну, да вы сочтетесь с нею, люди свои, мне дела нет; ты дай мне только теперь денег, святая душа на костылях, — коли хочешь, чтоб я молчал и не донес сейчас на тебя в суд». — Что мне было делать? Как могла я оспорить злодея, которому выгодно было не верить мне? Няни не было в городе, и она не могла воротиться ближе года. Я решилась, щадя честь свою и родительскую, не начинать тревоги из требования, которому легко удовлетворить было можно, не оглашать дела, к счастью, сокрытого и забытого, и отдать дворнику свои карманные деньги.

«На, — сказала я ему, принеся их из дома, — возьми все, что у меня есть, и не знай меня больше». — Он ушел. Домашние, видевшие меня у калитки, подумали, что я подала милостыню ему или послала ее с ним какому-нибудь нищему семейству, как дельвала часто, и нимало не удивились моим разговорам.

Но с сего времени утратилось мое спокойствие. Я увидела бездну, на краю которой стояла с извергом подле себя. Я трепетала при малейшем шорохе и стуке: затопает ли лошадь, скрыпнет ли дверь, войдет ли незнакомый человек; во всяком слове, мне казалось, был какой-нибудь намек на меня. Я боялась гулять одна по саду, не могла ни молиться, ни читать, ни думать. По целым часам сидела склавши руки, без всякой мысли, с одним страхом. Родители подумали, что я занемогла, и стали меня лечить, но не вылечили: лютый червь точил мое сердце, мой мозг. — Образ задохшегося купца сменился в моем воображении отвратительным образом дворника. Я беспрестанно смотрела на дверь и как будто дожидалась его, и дождалась: он пришел опять. «Ну, голубушка, ты дала мне намедни

денег, стало быть, точно я схоронил твою беду: на что б тебе расплачиваться за няню — и запираяться поздно, наша монахиня. Те деньги вышли. Давай мне еще». Я бросила ему, что принесла с собою, зная наперед об его требовании. «Нет, этого мало». — «У меня нет больше». — «Сними кольцо с руки, вынь серьги из ушей. Кресты да перстни те же деньги». Я отдала ему все и стремглав убежала, как от дьявола, который приходил вытягивать мою душу.

С сих пор мысли мои обратились на один предмет: как бы набирать больше всякой всячины и удовлетворять поскорее требованиям дворника, который стал посещать меня чаще и чаще. Я сама уже заранее устраивала так, чтоб свидания происходили скрытнее, отпирала калитку в назначенное время, подкладывала подарки. Все вещи свои, которыми могла располагать незаметно, я передавала ему: и гребни, и булавки, и перстни, и платки, и шали; и матушка стала замечать, что я всегда хожу в одном и том же платье. — Я истощила все предлоги, под коими испрашивала прежде денег у батюшки, и он с неудоволь-

ствием выговаривал, что я уже слишком много употребляю на свои благодеяния. — На достойные благодеяния употребляла я их! — Между тем дворник приобрел надо мною большую и большую власть. Я не смела выговорить пред ним слова и повиновалась его взгляду. Как он был страшен! Взглянув на него, я всегда готова была решиться на все, лишь бы только скорее избавиться от его ненавистного присутствия. Он замечал это, и дерзость его увеличивалась в той же мере, как увеличивалась моя покорность.

Однажды я могла припасти ему только один старый шейный платок — он рассердился. «Клянусь богом, — сказала я ему, упавши в ноги, — что не могу ничего дать больше. И так хожу я уж оборванная...» — «Крадь!» — закричал он. «Как! я стану красть!» — «А разве душисть людей лучше? — Ты одна у отца с матерью, нынче ли, завтра ли все будет твое. Они и сами рады бы отдать все, лишь бы спасти тебя от гибели. Слушай: я скоро перестану ходить к тебе, мне надо идти к барину в Москву за паспортом. Это, может быть, в последний раз». Как я услышала это слово: в послед-

ний раз, — я обеспамятела от радости: мне казалось, что все мои несчастья кончились.

«Изволь, — сказала я ему, — приходи в воскресенье». Я ukrала бумажник у матушки, и рука моя не дрожала; я не помнила, что делаю; я радовалась и веселилась, думая только о том, что изверг скроется скоро с глаз моих. — В воскресенье я отдала кошелек ему — и к ужасу узнала, что он останется еще на месяц. Он велел копить мне денег на дорогу. По крайней мере я увидела конец своим мучениям. Я считала всякий день, всякий час; между тем он ходил ко мне беспрестанно и выманивал деньги под разными предлогами. «Ведь все равно, — говорил он мне в утешение, — раз украсть или десять». Я крала и передавала ему краденое; дома начались подозрения. Батюшка и матушка били людей, отдавали в полицию, выгоняли от себя. Я ничего не видела, не чувствовала и только считала: завтра пятница, прошло три недели без двух дней, в воскресенье исполнится три недели ровно, останется одна; а в то воскресенье он уйдет, и я не увижу его больше; я крестилась и молилась, и радовалась. Наконец прошел этот длинный,

длинный месяц, наступил желанный день. — Что же? Он сказал мне, что еще должен пробыть несколько времени. — «Сколько?» — спросила я его с нетерпением. — «Не знаю, — отвечал злодей. — Или тебе не любо видеть меня, своего благодетеля?» — Господи! Что я почувствовала, услышав сии слова! Я опять не видела конца моим мучениям, и опять погрузилась в бездну моего злополучия. «Смотри же! этими деньгами я заплачу только долг. К субботе приготовь мне побольше, непременно: не то я разделаюсь с тобой по-своему». — Но я не могла украсть ничего: у нас дома все было заперто. По десяти глаз смотрело на всякий замок — да и сама я не хотела, не могла употребить прежнего старания, лишенная надежды достигнуть своей цели. — Между тем назначенное время приближалось, я вспомнила угрозы дворника и испугалась, как раба, не исполнившая приказаний господина. С каким ужасом стала я ожидать его! Что он сделает со мною? Кровь моя волновалась, колени дрожали, свет тмился в глазах, мысли мешались. Уже пробило восемь часов... девятый... он придет в сию минуту...

Вон он идет... пьяный... уж стоит у калитки... лицо багровое, в глазах полымя... борода всклокоченная, волосы щетиною... он ревет: «Давай мне денег...» — «У меня нет...»

Припадок сумасшествия начался у несчастной при ужасном воспоминании. Глаза ее сверкали; у рта показалась пена; она начала махать руками. Императрица заметила это и вышла тихо из комнаты, оставя девушку под надзором камердинеров, которым приказала не мешать ей в продолжение припадка и по успокоении отвести ее в назначенное место.

— «Как нет! — продолжала она, не примечая, что делалось около нее. — Давай мне денег!» — «Делай что хочешь со мною. У меня нет ничего». — «Ничего, так я сделаю, что хочу, с тобою! Ты расплатишься со мной...» Он бьет меня, тащит к беседке... Злодей! злодей!.. Куда!.. Ха, ха, ха! я сожгла его! Ха, ха, ха! он сторел! Как визжит он! Слышите? Не ожил ли? Нет! нет! не оживет!... и с сими словами упала на землю.

Окончание приключений преступницы

мы доскажем нашим читателям, ибо сама она не говорила уже более с императрицею, которая вскоре отправилась далее, принужденная сократить свое путешествие по случаю возникшей войны с Турциею[4].

Злодей посягнул на честь несчастной девушки. С сего времени она онемела всеми своими чувствами, лишилась употребления человеческих способностей, сделалась существом совершенно страдательным, как послушная жертва перед своим палачом; ум ее обнаруживался только в хитростях, с коими она скрывала свое преступное поведение: так сильно было в ней прежнее желание не огорчать родителей страшною вестью. Все проходило тайно, и прежняя жизнь ее много содействовала к отклонению всяких подозрений; никому не казалось странным, что была она молчалива, пасмурна, часто оставляла свою комнату, разговаривала с кем-то за калиткою, ибо и прежде всегда жила так же, хотя, увы! — совершенно по другим причинам. — Так прошло два месяца. Вечером, после ужина, в день известного пожара, вызывает ее дворник условленным знаком из комнаты.

Она выходит.

— Иди за мной.

— Куда?

— Иди за мной! — загремел он страшным своим голосом. Несчастливая хочет бежать от него; он хватает ее за руку и тащит за собою насильно по темным переулкам, на край города, в кабак.

Там за столом, покрытым штофами, сидело шестеро мужиков, с плошками в руках, пьяные, развращенные, сквернословящие. Перед ними у бочки стоял толстый целовальник[5], cedивший вино. Вокруг валялись опрокинутые, изломанные лавки, разбитая посуда, черепки. Крепкий запах носился в грязной комнате.

— Ну вот кто дает мне деньги, — закричал дворник, толкнув свою спутницу в этот вертеп преступников. — Вы не верили мне, говорили, что я ворую. Она скажет вам, что я честный человек. Ну, говори... от тебя получаю я все?

— От меня, — чуть выговорила девушка.

— Ах, кралечка, к нам на беседу! — закричали мужики. — Рады гостье! — и с неистовы-

ми криками бросились целовать ее.

— Забавляй же нас теперь! — возопил дворник, выпив глубокую плошку и ударив несчастную с размаху по щеке, так что она пошатнулась. — Пой, пляши, кружися...

Это оскорбление, это поругание возвращает память девушке. У ней нет больше терпения. Загорается мщенье. Она выходит из себя, и в сию минуту зачинается в голове ее мысль погубить здесь своего мучителя. Он был уже пьян, шатался на месте. Товарищи его были также не в своем уме. Целовальник дремал с ключком в руке. Ей показалось легко спойти их всех наповал и с полмертвыми, сонными управиться по своему желанию. Отчаяние придает ей силу, умение исполнить смелое предприятие.

— Извольте, мои господа, я стану веселить вас, — отвечает она живо и начинает петь, плясать, скакать, кружиться около своих палачей, обнимает их, целует, ласкает. Поднимается шум, гам, визг, свист, хохот, топот. Мужики дикими воплями изъявляют свое скотское удовольствие, смотря на ее неистовства: «Вот девка! угодила! лихо! вот удача! эй, жги,

припевай!» Поют вместе с нею, пляшут, стучат, кричат, буйствуют, бранятся, дерутся... Она их мирит и после всякой песни, пляски, миру обходит со штофом в руках, низко кланяется, потчует. Мужики беспрестанно напиваются из рук ее больше и больше и, наконец, одоленные вином, утихают мало-помалу и без чувств, без памяти падают на землю один после другого, издавая изредка только нестройные, бессмысленные звуки. Целовальника успела она, расточая ему свои ласки, напоить так, что он свалился еще прежде гостей своих. Тогда выбегает она из кабака, набирает, сколько может, соломы и сена, щепок и всякой мелочи в сени, в соседнюю каморку около дома, запирает двери, вылезает сама из окошка и зажигает строение вдруг в разных местах.

Успех соответствовал ее безумному желанию, и злодей, отравивший жизнь несчастной, погиб вместе с своими товарищами, жертвою ее ужасного мщения, как читатели видели выше; а она, взволнованная сими происшествиями, помешалась на время к своему счастью.

Таким образом один неосторожный шаг на покатом пути порока повергнул добродетельную девушку в бездну преступлений и несчастий.

Нянька ее, как узнали еще во время допросов, утонула почти пред самым Соловецким островом.

Императрица Екатерина II пред отбытием своим из Нижнего, призвав ее родителей, сказала им свое милостивое, утешительное слово, а ее, внимая гласу милосердия, повелела содержать в монастыре и, в случае освобождения от болезни, подчинить строжайшим правилам по уставу, какой вообще наблюдается для ссылаемых на покаяние. — Сама игуменья вызвалась из человеколюбия ходить за нею и пещись от исцеления ее души и тела.

Прошло несколько лет. Старания достопочтенной женщины увенчались желаемым успехом; сперва обратила она, разумеется, внимание на временное сумасшествие больной. Тишина, уединение, однообразие, жизнь без сует и попечений сами собою уже много способствовали к успокоению ее духа, и при-

падки год от году случались реже и слабее, а наконец совершенно прекратились. С душою, рожденною для добродетели, действовать было еще легче. Игуменья, пользуясь всякою благоприятною минутою, старалась прежде всего ослабить в ней прежние впечатления, затмить в ее воображении прошедшую жизнь и устремить все ее внимание на новые труды, обязанности, предприятия. — Потом начала читать с нею Евангелие и сочинения учителей церкви[6], толковала ей высокие истины, в них заключающиеся, указывала на великих грешников, которых раскаяние принято богом и которые сделались лучезарными светильниками веры и добродетели, примерами жизни благочестивой и святой, — и таким образом успела успокоить волновавшееся сердце, возродить в нем надежду, представить ей ясно цель, средства, путь ко спасению. Воспитанница вникала более и более в ее наставления, забывала мир со всеми его страстями, обновлялась духом, устремлялась к небу; и, наконец, постригшись в монахини, посвятила себя богу. Тогда-то душа ее, искушенная в горниле бедствия, погрузилась со-

вершенно в море духовных наслаждений, коих алкала еще во время своей невинной юности...

В монастыре познакомился с нею случайно один благочестивый муж, посвятивший всю жизнь свою на размышление о таинствах религии. «Ни на одной картине Рафаеля, Корреджио, Дольче не видывал я, — говорил он своим друзьям, — такого самоотвержения, такой глубокой скорби и уверенности в своем ничтожестве, и вместе такого благоговейного восторга, как на лице и в глазах этой монахини. Душа ее как будто б освятилась еще на земле, и она так высоко вознеслась в области добродетели, как прежде глубоко низверглась было в бездну порока. Тогда-то, — заключал достопочтенный старец, — понял, почувствовал я святое слово великого Человеколюбца[7]: яко тако радость будет на небеси о едином грешнике кающемся, нежели о девяти десятих и девяти праведник, иже не требуют покаяния» (Лук. гл. XV. ст. 7).

Примечания

купа — група.

[^^^]

2

...изречение Теренция: Я человек, и все людское мне не чуждо — выражение из комедии римского драматурга Теренция (ок. 195–159 до н. э.) «Сам себя наказывающий».

[^^^]

Четь-Миня — Минеи-Четьи — сборники житий святых, религиозных сказаний и поучений, предназначенные для ежедневного чтения.

[^^^]

...вскоре отправилась далее, принужденная сократить свое путешествие по случаю возникшей войны с Турциею. — Екатерина II была в Нижнем Новгороде в мае 1767 г. Русско-турецкая война началась в 1768 г.

[^^^]

5

Целовальник — продавец в кабаке.

[^^^]

6

...сочинения учителей церкви — сочинения святых первых веков христианства.

[^^^]

7

...великого Человеколюбца — Иисуса Христа.

[^^^]